

М.К.

НА ПРАВАХ ИОУ ОСТАВЛЕ

Уговор был простой: первым пойдет Юрик. И если ему дадут добро, то отправлюсь я.. Ему условия не нравились: что за китайские церемонии! Лилькин характер он не принимал во внимание, и моя бесправность ему и не снилась: он был убежденным сторонником патриархата. А потом, он не догадывался, что я вовсе не стремился к выяснению отношений — просто хотелось увидеть Лильку. Мой друг отличался простодушием. Говорят: надо выяснить отношения — выясняет. Но скажи я ему: надо повидаться с Лилькой — он бы меня не понял. Тут как раз он бы ожидал, что я стану разбираться с каким-то деловым вопросом.

Втайне я рассчитывал на хорошую погоду, но и тут не повезло, с утра зарядил дождь, так что сумерки, строго говоря, начались и продолжались, а просвета почти и не было.

Мир, где протекала наша юность, наверно, оказался бы слишком сложным для нынешних подростков. Топография проходных дворов, пересечение зон влияния, силовые линии тех или иных групп, тропы гордых одиночек — всю эту карту мы легко укладывали в голове и никогда не сбивались с курса. Мы с Юриком и раньше-то принадлежали к немногочисленному племени независимых, а в те дни, куда я сейчас углубляюсь, происходил наш решительный отрыв от всего этого — мы перешли в следующее качество, стали студентами, и джунгли больше не были опасны для нас. Когда, миновав все волчьи ямы и разъявленные канализационные люки, мы выскочили к воротам трампарка, за ними сверкнули первые фонари, и сразу выяснилось, что день кончился и наступил долгий вечер, растворенный в потоках дождя. В вагоне уже стало тесно, пахло псиной от прорезиненных плащей и мокрых брюк. По всему пути следования зажигались огни, и в их свете можно было захватить краем глаза профиль Дины Дурбин в наколке и фартучке, а также парящие в витрине розовые плащики из сказочного прозрачного

пластиката, а в витрине — ботинки на микропоре, дешевые и практически неснашиваемые. Цветные цилиндрики сатураторов, соединявшие в себе полет технической фантазии с сладостью газированной воды. Ну, и, разумеется, окошечко, за которым сиротливо пылится картонная вазочка с двумя муляжными шариками мороженого. Соблазны детства заглядывали в трамвайные окна — и я равнодушно отворачивался от них. Детство зримо отъезжало от меня вместе с приземистым силуэтом местного клуба, куда мы бегали смотреть в двадцатый раз картины о гражданской войне с неотразимым Петром Алейниковым. Оно, детство, все быстрее убегало назад вдоль трамвайных путей — и убежало таки в течение тех пятидесяти минут, которые отделяли нас от цели нашего путешествия.

Бог знает, чего я, с моей привычкой мгновенно и слепо сосружать воздушные замки, ждал от этой поездки. Чего? Ведь за истекший с нашей ссоры год я не делал попыток встретиться. Да и некогда было. Весь этот год после смерти отца я работал. До сих пор никто, кроме Юрика, не знал, что по утрам, до первой лекции, я разношу почту, заменяя тетю Нюшу. Квартал еще спал, да если б кто и встретил меня, никому бы не пришло в голову жалеть парня из пятой квартиры только за то, что он посильно помогает матери. Вряд ли кому из наших соседей приходилось особенно легко в той борьбе, которая дено и ношно велась за обитыми облезлыми дверями — в борьбе за кусок хлеба, за глоток горячего чая, за пару ботинок для младшего сына, да мало ли за что! Война откатилась далеко назад, но реки не потекли млеком и медом, и мы с матерью были такие же, как все, — каждый день решали свои задачи. Сумка натирала мне плечо, и больше всего я боялся, что не дай бог Лилька догадается о моей деятельности. Догадается — и отвернется, с той не ведающей сомнения грацией, которая так ударяла меня по сердцу, что я терял дар речи. Ах, как я знал, что ничего в ее душе не шевельнулось даже тогда, когда я шел под таким же дождем за хилыми похоронными дрогами, упорно глядя на раскачивающийся жиденький катафалк — и при этом — старался не увидеть крышку гроба. Больше всего я хотел бы сделаться невидимым: встречные женщины останав-

ливались и молча глядели вслед процессии, стирая с лица потоки дождя, словно еще не навиделись досыта этих лошадей с дурацкими плюмажами и спотыкающихся старух позади!

В те времена мы дохоранивали многих, кого догнала война — без выстрелов и грохота разрывов она добивала теперь тех, кто переголодал на блокадном пайке, пересидел в ледяной воде окопа. Далеко прошагал по разъезженным фронтовым дорогам. Тогда, в пылу событий, казалось — ничего не слишком, все по силам. Но наступила тишина — и всплыли на поверхность эти неучтенные лишки. И бесшумный убийца менял обличья, но не дремал. Тогда, разумеется, я не думал об этом ТАК. Просто на третьем этаже умер столяр дядя Петя. С ним отец сражался в домино, покручивая меж пальцев беломорину. А Ивана Ильича, учителя математики из проходного, знали во всех окрестных дворах: его змеи, уже линялые и потрепанные, все равно забивали прочих, легко взмывая в небо и рекордно долго пребывая там, дразня раздосадованных хозяев иных небесных тел... Неожиданно умерла молодая портниха Пания: рассказывали, что за три дня до смерти она отказалась принять заказ на платье, вернулась в странной рассеянности и упала на пороге кухни. Ее болезнь называлась неслыханным именем "белокровие", и старухи благоговейно шептали, что будто она ни разу не пожаловалась и скончалась, ровно вздохнула.

... Еще я хотел бы спрятаться от этих молчаливых женщин, потому что был слишком молод для их жалости.

... После я узнал, что Лилька знала о похоронах — она о них попросту забыла. Не пришла не по какой-нибудь сложной и изысканной причине, а именно — забыла. Но от нее, словно она была вовсе не человеческое существо, а нечто вроде марсианки, для которой необязательны законы житейской морали, я и не ждал доброты — или хотя бы рядового сочувствия. Что бы она ни сделала, я все принимал с той же незадумывающейся покорностью, с какой принимают дождь или снегопад. Она была стихией — и я был неволен ею распоряжаться. По всему по этому я и ехал сейчас на не обещанное мне свидание, ехал с необъяснимой уверенностью и одновременно с холодной тоской, какие сопровождали меня на наши прежние, в другой жизни

состоявшиеся свидания...

Мы спрыгнули, и трамвай неторопливо и важно уполз дальше. Мы очутились в другой части города, куда более старой, чем наша. Все движение неторопливо обтекало ограду вокруг жиденького, но тем не менее вполне оформленного сквера. Корявые клены и лохматые, пестрые березы отряхивали струи дождя. Тут сразу стало видно, что он пошел вкось и значит, скоро выдохнется, и мы побежали под один из этих разлапистых кленов.

— Ну, так. — Юрик смотрел серьезно и углубленно, губы значительно поджаты. На бровях скопилась вода, он смахнул ее и сделался еще суровее. — Ну, так. Ну, я пошел. А ты тут смотри... — он нагнул голову и бросился под дождь из-под нашего укрытия, и через минуту я едва мог разглядеть его за завесой дождя и бегущими пешеходами на другой стороне.

Мы с ним не обсуждали некоторые вещи, и я мог считать, что не знаю, как он оценивает Лильку и мои с ней отношения. Но я знал. И, бог ты мой, как мало это имело значения! Да если б весь мир в один прекрасный день ополчился на нее, с каким шикарным презрением я отделился бы от шеренги и приблизился, чтоб стать с ней плечо к плечу! Но ей это совсем не требовалось — хотя бы потому, что она нипочем не встала бы в оппозицию к миру.

В девятом классе я ходил ее встречать перед уроками. Наши школы стояли друг против друга — и обе разом могли наблюдать, как я перехожу дорогу и останавливаюсь в ожидании трамвая. И трамвай останавливался. Люди вываливались, и где-то между них выскакивала Лилька, притворяясь, будто впервые меня видит. Мне надо было попасть с нею шаг в шаг и — это был наш безмолвный уговор — болтать о чем угодно, кроме того единственного, что я имел ей сказать и хотел твердить без конца...

В масштабе наших школ я был знаменитостью: победитель первой математической олимпиады, прошу любить и жаловать. Я числился в школьном активе и вообще был не последний человек. И, конечно, Лильке льстило мое внимание — но у нее были свои критерии, она от всей души презирала шахматные

задачники, и от одного упоминания об Эйнштейне ее кидало в сон. Мне моя глупость прощалась только в том случае, если я принимался ухаживать по всей форме и при наибольшем стечении народа. А я был шершав, я был насмешник, и, несмотря на обуревавшие меня чувства, не желал раболепствовать напоказ. Я сам, как я теперь понимаю, не имел решительно никакой ценности, — смысл был лишь в мальчишеском сердце, нанизанном на веревочку — в трофее. Но не годился я в трофеи! И за эти триста шестьдесят дней ушел так далеко от той точки, где мы расстались, что возвращение сделалось задачей, решавшейся, увы, не в одном действии...

... Закуривать было почти бесполезно, но я все-таки задымил, и дым забивало мне в ноздри, и горек же он был, дым тех толстых честных папирос. Люди пробегали сквозь сквер намикосок, они спешили домой, не глядя по сторонам, подымали воротники, прижимали к себе тяжелые сумки, и постепенно в кружении толпы мне стало казаться, что я в пустыне. Темные силуэты возникали в трамвайных огнях и погружались во тьму, — я стоял стотупя от их колес, они спешили — я хранил неподвижность. Я и они. Я и Они. Какие световые годы, какие бездны разделяли нас!

Я с омерзением затоптал папиросу. Ее вкус был ужасен. Эпохи протекли над моей головой. Подлец Юрка! Должно быть, он пьет чай. Не мог удержаться! Чай с такими маленькими штучками, их лялькина мать печет по субботам. Вернется — свалю его на газон и буду бить ногами. Это же хуже смерти, негодяй!

Это теперь я не выделяюсь в толпе — немолодой мужчина хорошего роста, среди акселератов таких — каждый второй. А тогда из меня хотели сделать звезду баскетбола, он едва входил в моду, и в нашей спортшколе на меня точили зубы. И для Лильки мой рост имел, кажется, первостепенное значение. Но я не допускал себя до этой мысли. Я сознательно отворачивался от очевидного, не то зачем бы потащился в такую даль, да еще и Юрку втравил в это дело!

..Он шел ко мне, расталкивая встречных, с каменным лицом, с патетически поднятыми бровями — и во мне однозвучно



менно вспыхнула безумная надежда и правильный ответ. Они схлестнулись во мне, одинаково сильные, и я задохнулся. Стоял столбом, пока он не ткнулся в меня.

— Пошли отсюда! — взял меня за локоть и потянул к выходу. Я должен был слегка упереться, чтоб не сдвинуться.

— Ты ее видел? Да говори же, болван! — я шипел сквозь зубы, но какая-то женщина все же оглянулась, покосилась — может быть, ожидала, что я сейчас врежу Юрику в морду. Он отпустил меня и упрямо помотал головой, глядя на меня исподлобья с той педагогической гримасой, за которую, пожалуй, и заслуживал хорошего фонаря под глазом. Я, кажется, был очень близок к этому, потому что он отступил к стволу клена и кивнул. И я все-таки тряхнул его за плечи раза два, покада он не выдавил из себя:

— Ну чего тебе здесь! Сказала, чтоб не ходил. Надоел он мне со своими шуточками. Еще и дружков посылает! Дверь захлопнула, с-сука.. — Пойдем, давай! — Юрка громко, добро-совестно и неумело выругался. Старушка отшатнулась от нас:

— Хулиганье какое! Хоть бы людей постыдилились! Безотцовщина!

Почему-то мы взяли с места в обратную сторону и не сразу опомнились. Очередной трамвай огибал ограду, почти сдирая боком мокрые ветки, и листья трепались о металл с тряпичным шуршанием. Площадь была вымощена булыжной плиткой, и под плетями дождя казалось, что это спины маленьких зверей, тесно прижавшись друг к другу, дружно плывут с одного берега к другому. Огни фонарей отражались в рельсах и в лужах, а дома по краям площади окружали эти проблески темным кольцом. Это были старые, подслеповатые дома, ступеньки их прихрамывали, двери поискрошились у косяков, крыши облысели, — но они стояли честно в строю и не просили пощады. Трамвай вскрикнул вдали, взбираясь на мост, и дождь, плеснув напоследок, подустал.

— Черт! Куда мы полезли! Вот черт! — растерянно бормотал Юрик, и мы в два шага вернулись, но словно бы и не возвращались: этот угол площади отличался лишь тем, что здесь на месте газетного киоска торчала будка чистильщика сапог, задернутая желтыми занавесками. Трамвай подошел пустой, и

я прилип к окну. В угольной черноте — ничего, только клен выставил вперед мокрую лапу, и она у самых глаз провезла с той стороны стекла свернутые листья. Целую вечность они шаркали по стеклу, размокшие ветви, вечность я пристраивал на скамейке свое вдруг одервеневшее туловище, вечность не узнавал свое расплющенное отражение, болтавшееся и догонявшее вагон. Из туманного теплого края, где царил надо всем выстроенный мною воздушный замок, я тащился в страну "никогда", и это бы пустынный путь, однообразный и бесконечный. Я был оглушен, меня выключили, как лампочку, волшебный, оживлявший меня ток прервался, замер бег в невидимой нити, но еще сохраняет тепло маленький купол, и, замирая, переходя из стихии живого в стихию неживого, я испытывал физические муки — внутри меня что-то рвалось с сухим треском, обрывалось, и не было этому конца. Я съёжился, не смея вдохнуть, — но безжалостная работа в глубине продолжалась, а когда вагон трянуло, я полетел куда-то в бездну, в черноту, на недосягаемое дно — почти с облегчением. Но вот снова дернуло, потянуло — и меня выбросило на сушу, какой-никакой берег, и предметы проступили сквозь тьму веков. Здесь, на берегу, капли медленно ползли по стеклу, и уползли совсем.

Дома вдруг отчетливо выступили на фоне неба, и оно светлело с каждой минутой, чтоб между туч прорвалось нечто вроде сердитого рыжего высверка и тотчас спряталось, но в дрожащем свете фонарей ~~остался~~ остался его отзвук, воспоминание, что ли, фонари обрели некую веру в себя и стали с удвоенной силой разбивать вокруг себя клубы наплывающей вечерней тьмы.

Когда мы вышли, дождя уже не было, но в воздухе висели капли и равнодушно садились на кожу, стоило пересечься с ними в пространстве. В домах быстро, как по команде, зажигались огни, слышались оживленные голоса, хлопали двери магазинов. Прямо на меня выпала тетка с раздувшейся авоськой, таща за руку угрюмо-надутую девчонку, и девчонка упрямылась, расставляла ноги и мотала головой, а тетка набычивалась и тащила, тащила...

Но почему тот горький до сухости во рту осенний вечер чудится мне образом счастья? Должно быть, сама сила сопро-



тивления беде уже была жизнью и светом. Нераздумывающая, неразумная — но вся — от солнца и движения. Боль сверлит и удручает — но это еще не смерть. Кровь толчками вытекает из раны — это еще не смерть. Возмущение и гнев застилают глаза — это душа идет войной на унижение и утраты. Боренье, поединок воли и обстоятельств — это жизнь.

... Там, по спинам бульжников, пылыми крохотные отраженья фонарей. Дождь пробивал размякшую листву. Оскользаясь, чавкая по грязи, мы бежали в черноту меж ничего не освещающих огней. Что знал я тогда? Что знаю? Я больше ни разу не возвращался туда. Да ее и нету, этой площади — есть другая, залитая асфальтом, и дом, где давно никто не живет, а по вечерам зажигаются трубки ртутных ламп над канцелярскими столами. Да и меня прежнего больше нет.

Время прошло, но сделало ли оно меня счастливее? Или мудрее? Вряд ли. Наверно, каждому возрасту соответствует свой вид счастья — или удовлетворения судьбой. И свой метод борьбы с неудачей.

Не знаю, как вы, а я люблю праздники. Особенно предпраздничные дни с их суматохой, хлопотами, мытьем полов и печением пирогов, — словом, те нехитрые послевоенные праздники навек отпечатались во мне, и я, не стыжусь в этом признаться, — я сторонник домашнего уюта. Но мне также нравятся улицы с упругим шелканьем флагов над головой, и толпы, не спешащие, вползающие в метро с пакетами, с шариками на нитках, с рассеянно-смущенными лицами. А в тот праздник в моей квартире привычно пахло пылью, и никто не громыхал на кухне, и телевизор не орал, заглушая телефонный разговор, — словом, меня ждала лишь кипа бумаг — разбираться до следующего рабочего дня, а на вешалке, дразня непорядком, болталось зимнее пальто и напоминало, что тротуары давно высохли, а в скверах обнажилась пожухлая прошлогодняя трава. Само собой, что в эту квартиру мне не хотелось возвращаться, но еще меньше хотелось ехать в чужую — и как-то объяснять свое появление, что-то такое врать, изворачиваться и пить, чтобы не омрачать чужое настроение.

Я стоял на остановке — о такси в этот канун праздника нечего было и думать, троллейбусы, покачиваясь, один за дру-

гим ковыляли из-за угла, но все не те, какие надо, а толпа все умножалась, обтекая меня с обеих ~~шпирш~~ сторон, и, кажется, почти целиком настраивалась ехать вместе со мною. Над улицей проделывал акробатические штуки голубой вымпел, вдали уже подмигивал транспарант, дворник вставлял в трубку флаг — и тот мгновенно распрямился и лег на ветер, завиваясь и взлетая, а дворник, молодой бородач в джинсах, слезал с хлипкой лестницы. Первые ~~сгн~~ брызнули над крышами — кто-то запустил ракету. В воздухе, шурша, рассыпались пушистые золотые искры, меркли и оседали, а вслед взлетали новые и новые, и стайка ребят на углу восторженно орала, приседая и вскидывая кулаки.

Позади был неустойчивый весенний день, когда солнце борется с нехотя уходящим коварным морозцем — и к вечеру он, морозец, взял свое. У девушек, освоивших раньше срока легкие плащики, на лицах было некое недоумение, особенно у замерзших губ. Но двое парнишек деловито грызли железные эскимо, и мимолетом меня задела зависть. Из гастронома напротив выносили последние палки колбасы, последние бутылки — вечер катился с горки, и только на том месте, где я стоял, время остановилось. Оно обтекало меня, оно замерзло вместе с этими чересчур рано проклюнувшимися росточками весны, а я, кажется, пустил корни сквозь асфальт, до того был неподвижен и монументален. Я высился непоколебимо, а времена со свистом излетали через мою бронзовеющую грудь — и вот среди них налетел на меня тот осенний вечер, вечер моей неудачи! Как много грядущих удач он предвещал, как много ждало меня ~~иных~~ свиданий за кромкой того горя! Как, в сущности, счастлив был я тогда — разбитый наголову в своем первом сражении! И как дорого дается нам, казалось бы, самое простое — умение отличать сладкое от горького и победы — от разгромов!

В тот вечер я лег рано, потушил свет и поглядывал, как наливаются светом окна едва сданного под эксплуатацию дома, нового дома, наполнявшегося сейчас новоселами, намеренными прожить в его стенах долгую счастливую жизнь...

Я видел, как долго вешали люстру, слишком тяжелую,

слишком сверкающую для современной кубатурн, и как после, уже за столом, отец семейства, тот, что стоял на стремянке и дирижировал трудовым процессом, все поглядывал вверх, на люстру, и вновь и вновь заставлял всех любоваться ею.

Утром меня разбудили бравурные звуки марша из соседнего телевизора. Иногда, пробиваясь сквозь медь, диктор ликующим голосом комментировал происходящее, и тогда, мне казалось, я почти видел толпы, пересекающие площадь. В полудреме я пытался воскресить то острое наслаждение, с каким, бывало, выпускал изо рта липкие края надутого воздушного шарика, и он начинал рваться с нитки, изо всех сил стараясь обогнать облака! Воздушные шары, визг уйди-уйди и замерзшие уши — вот чем были те праздничные передвижения по городу, и чего бы я не дал, чтобы вот так брести сейчас под нудным дождем, голодным, с мокрыми ногами! Чего бы не дал, чтобы дрогнуть под разлохмаченным кленом, с упрямой злостью смаргивая слезы! Чего бы не дал за сладкий запах любовного горя, за его волнуемый, грозовой вкус на губах!

